

Встреча в Марипозе. Генрик Сенкевич

В Марипозе я был лишь проездом и столь же бегло посетил ее окрестности. Я бы, разумеется, задержался подольше и в городе, и в округе, если бы знал, что в десяти с чем-то милях от города живет в лесу прототип моего «смотрителя маяка». Недавно г-н М., одновременно со мною находившийся в Калифорнии и прочитавший «На маяке», рассказал мне о встрече со скваттером-поляком, поразительно на него похожим.

...По пути к Биг-Триз, то есть к группе гигантских калифорнийских деревьев, я заехал в Марипозу. До недавних лет этот город еще насчитывал около пятнадцати тысяч жителей, теперь же их в десять раз меньше. Известно, что в Новом Свете города растут как грибы, но часто и живут не дольше мотыльков[1]. Так было и с Марипозой. Пока в речушке Марпозе светилось золотистое дно, а на берегах оседали зеленоватые комочки с драгоценным металлом, здесь было полно американских горняков, гамбусинос[2] из Мексики и торговцев со всех концов света. Потом все они разъехались. «Золотые» города недолговечны, ведь золото раньше или позже иссякает. Ныне в Марипозе примерно тысяча жителей, а берега речки Марипозы уже снова покрылись зарослями плакучих ив, хлопкового дерева и всяческих кустарников. Там, где прежде по вечерам старатели распевали «I crossed Mississippi»[3], ныне поют койоты. Город состоит из одной улицы, самое красивое здание на которой школа, второе место занимает «Капитолий»[4], третье – гостиница мистера Биллинга, к которой относятся также «гросери», «салун», то есть трактир, и «бейкери», или пекарня. Вдоль улицы красуются витрины еще нескольких лавок. Однако торговля здесь идет вяло. Лавки обеспечивают потребности только города, фермеров в окрестностях мало. Население во всем округе еще слишком немногочисленно, на большей его части шумят огромные леса, в которых кое-где живут скваттеры.

Когда наш дилижанс въехал в город, там царило необычное оживление – мы прибыли в пятницу, в торговый день. В этот день скваттеры привозят в «гросери» мед и запасаются различными видами провизии. Другие пригоняют скот, фермеры привозят зерно. Хотя эмигранты посещают Марипозу очень редко, было там и несколько эмигрантских фургонов, которые легко узнать по высокому белому верху и по тому, что между колес обычно бывает прикреплена цепь с собакой, енотом или медвежонком. Перед гостиницей было особеннолюдно, и хозяин ее, мистер Биллинг, сновал туда-сюда, разнося джин, виски и бренди. С первого взгляда он признал во мне иностранца, направляющегося к Биг-Триз, – подобные туристы составляют самую желанную для него клиентуру, и он с особой заботливостью принялся за мною ухаживать.

Это был человек уже немолодой, но очень проворный и быстрый. По его манерам и по лицу легко было догадаться, что он не пруссак. С чрезвычайной учтивостью он указал мне мою комнату и объяснил, что «брекфест» уже кончился, но, если я желаю, он тотчас подаст мне поесть в «дайнинг-рум».

– Вы, наверно, из Сан-Франциско?

– О нет, я из более далеких краев.

– Ол райт! Верно, едете к Биг-Триз?

– Да, туда.

– Если хотите взглянуть на фотографии этих деревьев, они висят внизу.

- Хорошо, я скоро спущусь.
- Долго ли собираетесь пробыть в Марипозе?
- Несколько дней. Мне надо отдохнуть, кроме того, я хочу увидеть окрестные леса.
- Охота здесь превосходная. Недавно пуму убили.
- Славно, славно. А пока я лягу вздремнуть.
- Гуд бай! Внизу есть гостиничная книга, в которой я прошу вас записать свою фамилию.
- Ладно...

Я лег и проспал до обеда, о котором оповестили ударами палки по жестяному горняцкому котлу. Я спустился вниз и прежде всего записал свое имя в книгу, не преминув поставить рядом со своей фамилией: «From Poland»[5]. Затем направился в «дайнинг-рум». Торговля на рынке, видимо, уже прекратилась, приезжие отправились восвояси – за обеденный стол село лишь несколько человек: две фермерские семьи, какой-то господин без одного глаза и без галстука, местная учительница, которая, должно быть, постоянно жила в гостинице, да старик, по чьему костюму и оружию я мог заключить, что он скваттер. Ели мы в молчании, прерываемом лишь короткими фразами, вроде: «Я был бы весьма благодарен вам за хлеб», или «за масло», или «за соль». Таким манером сидящие далеко от хлеба, масла или соли просят сидящих поближе пододвинуть к ним эти продукты. Я чувствовал себя усталым, говорить не хотелось. Зато я разглядывал комнату, стены которой, как сказал мистер Биллинг, были увешаны фотографиями гигантских деревьев. Вот Father of the Forest, или «Отец леса», теперь уже срубленный. Не сумел все же устоять под бременем своих 4000 лет!

Высота 450 футов, в обхвате 112 футов. Славный папочка! с трудом веришь глазам своим и надписям. Grizzled Giant[6]: 15 локтей в диаметре. Да! Пожалуй, даже наши евреи призадумались бы, если бы им предложили доставить такое растение в Гданьск. Сердце прыгало в груди от радости, что вскоре я увижу в натуре, своими глазами эту группу деревьев, вернее, колоссальных башен, одиноко стоящих в лесу... со времен потопы. Я, варшавянин, собственными глазами увижу «отца», дотронусь до его коры и, может быть, кусочек ее привезу в Варшаву как доказательство для скептиков, что я действительно побывал в Калифорнии. Когда заберешься так далеко, кажешься самому себе каким-то необычным существом и невольно лелеешь мысль, как обо всем этом будешь рассказывать по возвращении и как скептики не будут тебе верить, что есть в мире деревья с обхватом в пятьдесят шесть локтей. Мои размышления были прерваны вопросом негра:

- Кофе черный? С молоком?

«Черный, как ты сам», – хотелось мне ответить, но ответ был бы неуместным, потому что негр был стар, с белой, как молоко, шевелюрой, и от старости еле ноги волочил.

Тем временем обед закончился. Все встали. Фермер-отец набил себе за обе щеки табак, мамаша, усевшись в кресло-качалку, принялась энергично раскачиваться, а дочка, светловолосая, пышнокудряя Полли или Кэтти, подошла к пианино, и минуту

спустя я услышал:

Jankee Doodle is going down town...[7]

«Меня на «Янки Дудл» не поймаешь!» – подумал я. От Нью-Йорка до Марипозы играют мне эту песенку барышни на фортепьяно, солдаты на рожках, негры на банджо, дети на кусочках бычьих зубов. Да, забыл! Еще на пароходе преследовал меня «Янки Дудл». Со временем появится, наверно, в Америке болезнь «янкидудлофобия»!

Я закурил сигару и вышел на улицу. На землю спускались сумерки. Фургоны разъехались, эмигрантов тоже не было видно. Все вокруг затихло. Вид был восхитительный. Запад алел вечерней зарей, на востоке темнело. У меня на душе было радостно, светло. Жизнь казалась приятной, легкой, вольной. В садиках, окружавших дома, слышалось пенье, порой мелькнет среди кустов белое платье, блеснет пара голубых глаз. Чудесный был вечер! Жаль только, что в Америке принято по вечерам сжигать на улицах мусор. Запах дыма совсем некстати примешивается к аромату роз и запаху свежести, доносящемуся из ближнего леса. Временами из прилегавших к городку полей и чащ доносились раскаты ружейной стрельбы, ведь почти все обитатели Марипозы охотники; наконец всякое движение прекратилось, кучки мусора догорали. На улице я встретил нескольких человек; не знаю, быть может, я невольно перенес свое настроение на других, но в мирных лучах заката их лица показались мне такими удовлетворенными, спокойными, счастливыми.

«Может, и в самом деле, – думалось мне, – здесь живут тихо, спокойно и счастливо, в этом глухом, затерянном среди лесов уголке. Может, и вправду, душа среди пресловутой американской свободы начинает лучиться, испускать вроде светляка тихий свет. Здесь ведь и не голодно, и не холодно, и места вдоволь, есть где расправить тело, раскинуть руки... И леса эти такие спокойные, ах, такие спокойные!..»

Несколько негров, шедших мне навстречу, пели довольно звучными голосами – к счастью, не «Янки Дудл», а «Серебряные нитки».

– Добрый вечер, сэр, – любезно сказали они, поравнявшись со мною.

И люди тут доброжелательные, вежливые. Когда придет старость, я, наверно, не раз подумаю об этой мирной Марипозе.

Сверху, с неба, донеслось до меня курлыканье журавлей, летевших куда-то к океану. Я разнежился, размечтался. Странный наплыв впечатлений! И в гостиницу я возвратился умиленный, полный сладкого томления. Нахлынули мысли о доме, о родных, и я тоже стал напевать, но не «Янки Дудл», о нет! Я пел:

У нас иначе, иначе, иначе!..

Тук, тук, тук!

«Любопытно, кто бы это мог быть?» – подумал я.

Тук, тук, тук!

– Come in[8].

Вошел хозяин. Черт возьми, что за страна! И у этого лицо такое растроганное. Подходит ко мне, крепко жмет руку и, не выпуская ее, откинув голову, глядит на меня так, точно собирается благословить.

Я стою с раскрытым ртом, удивление мое не уступает его растроганности.

– В гостиничной книге я увидел,— говорит хозяин,— что вы из Польши!

– Да, верно. А вы тоже поляк?

– О нет, я баденец.

– Но вы бывали в Польше?

– Нет, никогда...

– Так почему же...

Глаза мои раскрываются так же широко, как рот.

– Я,— говорит хозяин,— сражался под начальством Мерославского.

– Неужели?

– Какой это был герой! Величайший полководец в мире! Как я счастлив видеть вас... Он еще жив?

– Нет, умер.

– Умер! — повторил немец и сел, тяжело опустив руки на колени и поникнув головой на грудь.

Я стоял в растерянности. Я не разделял восторженного отношения мистера Биллинга к Мерославскому, но в ту минуту его энтузиазм был мне приятен и лестен. Между тем мистер Биллинг сумел победить свою скорбь, и его восхищение Мерославским излилось каскадами слов, с которыми не сравнились бы Ниагара или Йосемита-Фолз. До моего слуха доносились имена героев древности, затем средневековых, затем Вашингтона, Лафайета и Мерославского; дальше слышу я такие слова, как «свобода», «прогресс», «цивилизация»,— они сыплются сотнями, тысячами. Видимо, у нашего красноречивого генерала и рядовые были красноречивые.

– Это был идеальный человек! — восклицает в заключение мой хозяин.

«Был или не был, не в том суть! — думаю я. — Но факт тот, что, если в тебе, практичном немце, есть крупица идеального, то, по странному стечению обстоятельств, ты этим обязан поляку. Если бы не он, ergo[9] если б не мы, твоя мысль, быть может, никогда не поднялась бы выше долларов, бизнеса и прибылей твоей гостиницы. Ты бы только и знал, что с жадностью хватать туристов, направляющихся к Биг-Триз, да увиваться вокруг них, как вокруг меня, а вот теперь дух возвышенного веет в тебе, точно в трубах органа,— ты бросаешь слова, которые в Европе уже прокисли, как старое пиво, но не перестали быть благороднейшими из слов, когда-либо изобретенных человеческим языком. В старой Европе есть, быть может, лишь один уголок, где еще принимают эти слова всерьез и

иногда произносят их со слезами на глазах, а иногда и с сокрушением, что другие люди пренебрегают этими сокровищами или попусту тарахтят ими как погремушками. Но что поделаешь... И в том краю тоже бывает порою трудно... О, еще как трудно! А все же какой славный немец – ни во что не ставит Садовую или Седан, знай только вспоминает Мерославского и баденские дела. Вот славный немец! Его адрес: гостиница Биллинга, Калифорния, округ Марипоза. Адрес такого немца стоит записать. Чтоб отыскать такого, надо было добраться до Марипозы!»

Ол райт!

Оп тем временем повторяет: «Ах, этот Мерославский» – и утирает глаза, явно утирает глаза. Золотое сердце!

– Мне так приятно видеть вас, будто выпил виски с имбирем! – говорит он.

Пожимает мне руку, пожимает второй раз, третий и движется к двери. Стоя на пороге, он вдруг звонко хлопает себя рукою по лбу.

– Ах, – говорит он, – совсем запамятовал! Да ведь тут есть ваш земляк.

– В Марипозе?

– Нет, он живет в лесу. Но по пятницам приезжает с медом на рынок и остается переночевать. Старый человек. Хороший, очень хороший человек! Он тут живет уже лет двадцать. Еще никого тут не было, когда он появился. Завтра приведу его к вам.

– Как его зовут?

Немец начинает смущенно скрести себе затылок, как любой наш польский Бартек.

– О, I don't know! Не знаю! – говорит он. – Какое-то очень трудное имя.

Назавтра только я поднялся, как мой немец еще до завтрака привел ко мне земляка.

Я сразу узнал в нем старика, обедавшего накануне со мною за одним столом.

Был это человек высокого, даже очень высокого роста, но сильно согбенный годами. Седая голова, седая борода и голубые глаза, которые сразу впились в меня со странным вниманием.

– Оставляю вас одних, – сказал немец.

Мы остались одни и долго смотрели друг на друга в молчании. Правду сказать, я был несколько смущен видом этого старика, скорее похожего на Вернигору, чем на обычного поляка.

– Моя фамилия Путрамент, – промолвил старик. – Разве имя мое чуждо ушам твоим?

– Моя фамилия М., – ответил я. – Ваше имя я слышал. Кажется, вы из Литвы?

Мне действительно вспомнилось что-то из «Пана Тадеуша», что-то вроде «Путрамент с Пиктурной» в рассказе Протазия о процессах.

Старик приставил руку к уху.

– Как? – спросил он.

– Кажется, вы из Литвы?

– Говори громче, годы повредили слух мой, и старость моя глуха, – ответил пан Путрамент.

«Смеется он надо мной или я дурак? – подумал я. – Но старичок этот почему-то изъясняется языком библейских пророков. Каких оригиналов встречаю я здесь в Марипозе».

– Давно вы покинули родину? – спросил я.

– Уж двадцать лет обитаю я тут, и поистине ты первый, кого я узрел из родимой земли, отчего сердце мое взволновалось и душа возрадовалась.

Старик действительно говорил дрожащим голосом и, судя по его виду, был глубоко взволнован. Что до меня, я был только удивлен. Я не прожил двадцать лет в лесу, поляков видел совсем недавно в Сан-Франциско, и у меня не было причины умиляться. Зато мне хотелось воскликнуть: что за стиль! Кабы со мною так говорил кто-нибудь целый день, я бы, наверно, взвыл... Брр!.. Между тем старик упорно всматривался в меня, и казалось, ум его напряженно работает. Несколько раз он как будто хотел заговорить, но останавливался. Видимо, он чувствовал, что говорит не так, как прочие люди. Речь его, однако, была вполне правильной, хотя и затрудненной.

– В далеком сем краю одеревенел язык мой и заоченели уста мои...

«Что правда, то правда!» – подумал я.

Но мое веселье исчезало. Мне становилось как-то не по себе, я испытывал угрызения совести. «Как он там ни говорит, этот старик, – думал я, – но он говорит с волнением, с глубокой печалью и искренне, а я как будто над ним посмеиваюсь».

И я невольно протянул ему обе руки. Он взял их, прижал к своей груди, повторяя:

– Земляк, земляк!

Такое глубокое чувство звучало в его голосе, что сердце у меня пребольно сжалось.

Что ни говори, передо мною была загадка – загадка странная, а быть может, и очень печальная. Теперь я уже смотрел на него, как смотрел бы на старого отца. Почтительно усадив его на стул, я сел рядом. Он все смотрел на меня.

– Что слышно в краю нашем? – спросил он.

Тут я дал волю языку, говорил и говорил без остановки, только стараясь произносить слова громко и отчетливо. Таким образом проговорил я с полчаса, и в зависимости от моих слов старик то грустно покачивал своей белой головой, то на его губах появлялась улыбка. Один раз он произнес знаменитую фразу Галилея и

часто задавал мне вопросы все тем же торжественным, необычным, непонятным для меня слогом.

Все, что я ему рассказывал, интересовало его чрезвычайно. Вся душа его, казалось, сосредоточилась в его глазах и устах. Живя одиноко в лесу, он, возможно, целыми днями думал лишь о том, о чем я теперь ему рассказывал.

О, странный ты старик, странная порода людей, уносящих с собою в самые отдаленные края одну-единственную мысль и одно-единственное чувство! Тем и живете вы в лесах, в пустынях, у моря – тело свое уносите, но душу оторвать не можете – и бродите, будто очарованные, среди других людей! Но порода эта постепенно вымирает. Я вам рассказываю об одном из последних таких людей.

Мой рассказ кажется вымыслом, но он правдив. Путрамент, возможно, еще живет в своем лесу вблизи Марипозы. Из его слов я узнал следующее. Он был пасечник, как большинство скваттеров. И не слишком бедный. Пчелы зарабатывали ему на пропитание. Состарясь, он взял себе помощника, мальчика-индейца, смотреть за пасекой. Он сказал, что до сих пор еще охотится сам каждый день. Дичи вокруг Марипозы много: оленей, антилоп, всяческой птицы видимо-невидимо.

А вот медведей стало гораздо меньше. Его каньон один из самых красивых в окрестности. Возле дома протекает чудесный ручей со многими водопадами – кругом скалы да горы, а на них леса, дремучие леса... Тишина, покой... Он горячо приглашал меня к себе, но тогда мне пришлось бы для возвращения в Марипозу ждать следующей пятницы, и я с грустью отказался от приглашения. Говорил он все время языком Авраама и Иакова... Слова «почто», «поелику», «воистину», «доколе», «днесь» густо уснащали его речь. Порой мне чудилось, будто передо мною человек времен Гурницкого или Скарги, который прорыл себе под землю ход до самой Марипозы и тут воскрес либо жил здесь с допотопных времен, как соседние Биг-Триз. Но, кроме старинного слога, была в его речи странная торжественность – в нанизывании предложений, в обилии плеоназмов, в подробности описаний. Я наконец решил разгадать эту загадку.

– Скажите мне на милость, откуда у вас такой язык? Это язык не современный, язык устаревший, на нем в Польше уже не говорят.

Он усмехнулся.

– Единственная книга в доме моем – Библия Вуека, я читаю ее каждый день, дабы не забыть языка моего и не стать немым для речи предков моих...

Тогда-то я понял. Несколько десятков лет он в далекой Мари-позе не видел ни одного поляка, ни с одним не говорил. Зато читал Вуека, и немудрено, что не только слова, но и мысли складывались у него по библейскому образцу. Иного польского языка он уже не знал и знать не мог, он выкладывал лишь то, что там почерпнул. Но главное – он ни за что на свете не хотел забыть. Он взял себе в обыкновение читать вслух свою Библию каждое утро. Впрочем, больше ничего и не доходило до него из родного края – ничего, ниоткуда, разве что шум калифорнийского леса напоминал ему шум лесов литовских.

Когда мы прощались, я сказал:

– Через месяц я возвращаюсь на родину. Нет ли у вас там родных? Брата, свата, кого-нибудь, кому бы вы могли сообщить о себе?

Он задумался, как бы ища в памяти каких-нибудь самых дальних родственников, потом покачал головой:

– Никого... никого... никого...

И все же старик этот читал Вуека и не хотел забыть!

Мы простились.

– Господь да пребудет с тобою! – сказал он мне в виде напутствия.

Он сразу же уехал в лес, я через два дня – к Биг-Триз. Когда я садился в дилижанс, мистер Биллинг так тряс мою руку, будто намеревался оторвать ее, чтобы оставить себе на память.

– Великий человек был, сударь, этот пан Мерославский... Гуд бай! Гуд бай! Sehr grosser Mann! [10]

Четверть часа спустя меня окружали леса Марипозы. На следующий день утром я подумал: в эту минуту старик Путрамент в каньоне читает вслух свою Библию...

1882

Примечания

1 Здесь, возможно, у автора ассоциация со словом «марипоза» (исп. mariposa означает «бабочка», «мотылек»).

2 Гамбусинос – золотоискатели (исп.).

3 «Я пересек Миссисипи» (англ.).

4 Здесь в значении «мэрия».

5 Из Польши (англ.).

6 Седой Гигант (англ.).

7 Янки Дудл идет в город (англ.).

8 Войдите (англ.).

9 Следовательно (лат.)

10 Очень великий человек! (нем.)